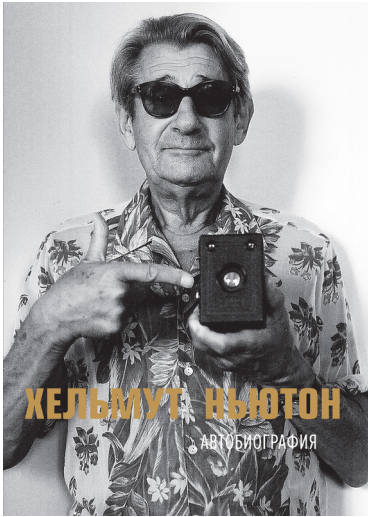




Хельмут Ньютон

Хельмут Ньютон. Автобиография

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6661572

Хельмут Ньютон: Автобиография: КоЛибри, Азбука-Амтикус; М.: 2014

ISBN 978-5-389-07759-1, 978-5-389-06820-9

Аннотация

Хельмут Ньютон – признанный классик фотографии XX века. Своими работами он изменил представление о моде, сексуальности и красоте. Начало творческого пути художника, жизнь в нацистской Германии, бегство от гитлеровского режима... Сотрудничество с журналами Harper's Bazaar, Elle, Playboy, Vogue, знакомство с Сальвадором Дали, Маргарет Тэтчер, Жаком Шираком, Элизабет Тейлор, Катрин Денев, Миком Джаггером, секреты мастерства проницательного наблюдателя, которого интересует не внешняя сторона вещей, а их суть и скрытый смысл, – все это в автобиографической книге гения фотографии XX века.

«Автобиография Хельмута Ньютона так же откровенна, как и его снимки».

Содержание

Пролог	5
Часть I: БИОГРАФИЯ	6
Глава первая	7
Глава вторая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Хельмут Ньютон

Хельмут Ньютон: Автобиография



Портрет Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон родился в Берлине в 1920 году. Всемирно признанный фотограф XX века. Создатель нового направления современной рекламной фотографии с ярко выраженным эротизмом и откровенной чувственностью. Удостоен многочисленных наград, среди которых Grand Prix National de la Ville de Paris (Франция, 1990) и Большой крест за заслуги (Германия, 1992). Командор Ордена искусств и литературы (1966), почетный член Общества культурного наследия Монако (2001). Скончался в Калифорнии в 2004 году.

Посвящается Макс, Клэр и Джун

Пролог

Мне было три или четыре года, я лежал в кроватке в квартире моих родителей на Иннсбрукерштрассе. Была ночь, всегда ночь – многие мои воспоминания связаны с этим временем суток.

Моя няня, моя Kinderfräulein, собирается выходить. Она обнажена до пояса. На ней комбинация, она сидит перед зеркалом. Она прихорашивается и выглядит чрезвычайно красивой. Насколько я помню, это первый раз, когда я видел полуобнаженную молодую женщину перед зеркалом.

Мои родители часто посещали вечеринки и ночные клубы, но мама всегда приходила ко мне перед сном, чтобы пожелать доброй ночи. Я помню прикосновение ее обнаженных рук – потому что иногда она носила платье для коктейлей или вечернее – и помню свой восторг и волнение от этих прикосновений. Тогда мама была для меня самой привлекательной и любимой женщиной на свете.

У моей кровати стояла лампа с очень тусклым светом. Иногда мама приходила ко мне до того, как надевала платье: на ней была комбинация с лифчиком и жемчужное ожерелье. Комбинация шелковая, всегда телесного цвета, никогда не черная. Она приходила и садилась у изголовья моей кровати. Ее сопровождал нежный аромат Chanel № 5. Я помню, как обнимал ее и ощущал ее кожу.

Моя мать была довольно пышной женщиной, с большой грудью, округлыми руками и плечами. Она была не так уж молода, поскольку я был поздним ребенком, но я не осознавал этого. Я любил маму; я обожал ее.

Иногда она говорила мне, что на самом деле я не ее ребенок. Меня якобы нашли на заднем крыльце, завернутого в пеленку с вышитой семизубцовой короной и аристократическими инициалами.

Часть I: БИОГРАФИЯ



Автопортрет с друзьями в Халензее, 1935 г.

Глава первая ДЕТСТВО

Я родился в 11.30 утра, в воскресенье, 31 октября 1920 года, в берлинском пригороде Шёнеберг. Мама говорила, что с утра шел дождь, но, когда я появился на свет, неожиданно выглянуло солнце.

Мама происходила из состоятельной семьи. Она вышла замуж за богатого человека, который умер, когда она была еще совсем молодой.

У них был один ребенок – мой сводный брат Ханс. Отец был из бедной семьи, жившей в крошечной деревушке в Силезии. Когда он женился на матери, то стал управлять фабрикой, принадлежавшей ее первому мужу, на которой изготавливали пряжки и пуговицы.

Мама обладала живым воображением и рассказывала мне удивительные истории о знакомстве с отцом, Максом, и как он влюбился в ее прекрасные ноги.

У нее действительно были красивые ноги. Она была привлекательной молодой вдовой, а он бедным солдатом, в 1918 году вернувшимся с русского фронта. Они полюбили друг друга и поженились. Я родился во время блокады Германии странами Антанты после Первой мировой войны, на два месяца раньше срока – слабый и болезненный ребенок. Коровьего молока было не достать, поэтому меня кормили козьим, продававшимся в то время в Берлине. По словам матери, только поэтому мне удалось вырасти здоровым, красивым и сильным.



Мой отец по возвращении с русского фронта после Первой мировой войны

Несколько лет назад мы с моей женой Джун отправились в Берлин и посетили Иоахима, который когда-то был нашим семейным шофером. Он узнал меня по фотографии в немецком журнале и связался со мной. Жена Иоахима много лет служила у моего дяди по фамилии Гольдшmidt, поэтому хорошо знала историю семьи. Думаю, именно через нее Иоахим получил работу шофера у моего отца. И, когда мы с Джун сидели за столом в маленьком загородном доме и пили кофе с пирожными, некоторые семейные легенды обрели реальную основу.

«А знаешь ли ты, Хельмут, что ты вовсе не был недоношенным ребенком?» Я ответил, что не знаю; я всегда верил в историю, которую мне рассказывали, и не имел причин сомневаться в ней. «На самом деле, – сказала жена Иоахима, – твой отец очень настойчиво добивался любви твоей матери и она уже была беременной, когда они обвенчались».

Жена Иоахима твердо настаивала, на том, что это правда. По-видимому, многие члены нашей семьи были в курсе событий. Они знали, что Клэр и Макс очень любили друг друга и спали вместе задолго до того, как поженились.

Мы выслушали еще несколько семейных историй. Оказывается, свадьба дяди Гольдшмидта не обошлась без драматической сцены. В день бракосочетания, пока новобрачные находились в синагоге, в толпе снаружи их поджидала женщина с младенцем на руках. Когда молодые супруги вышли на улицу, женщина подняла младенца над головой и закричала: «Это твой ребенок! Это твой ребенок!»

Род Маркиевичей (по материнской линии моей семьи) был богат эксцентричными личностями. Дедушка Маркиевич, отец моей матери, родившийся в 1840 году, стал так называемым «бродячим студентом» и исколесил всю страну в поисках удачи. В конце концов он оказался в Италии, где попытался присоединиться к Гарибальди в войне за независимость, но получил отказ. Тогда он отплыл в Америку и завербовался в армию юнионистов в 1865 году. Большую часть службы он провел в качестве одного из специальных охранников миссис Грант, жены знаменитого генерала. Она благоволила к нему и отправила в артиллерийское училище в Форт-Монро в штате Виргиния. Он стал американским гражданином и сменил фамилию на Маквис. Потом он вернулся в Берлин, женился и обзавелся тремя сыновьями и пятью дочерьми. Одной из них была моя мать Клэр, или Клара.

Дедушка Маркиевич был новатором в области рекламы и сделал состояние на размещении рекламных плакатов на общественном транспорте – автобусах и трамваях. Его любимым увлечением была езда по берлинским улицам на огромной скорости в карете, запряженной шестеркой лошадей. По преданию, он так любил своих коней, что, когда их попоны изнашивались, он отдал их самому дешевому портному, которого смог найти, чтобы тот сшил из них зимние пальто для его дочерей.



В 1938 году мне понадобилась копия свидетельства о рождении, чтобы получить паспорт

Моя мать относилась к окружающим с определенной долей снобизма. Эта черта вообще была характерна для берлинцев. Они свысока смотрели на всех, кто не был искушен в тонкостях столичной жизни. Сам Макс очень быстро приобрел столичный лоск, но остальным членам его семьи это не удалось. Мать презирала родственников мужа. Естественно, что, приезжая из Силезии, они не могли похвастать столичным шиком, зато брали количеством. Мать постоянно жаловалась, что у отца слишком много родственников.

Мы жили в доме на Иннсбрукерштрассе. На парадной двери нашего дома, как и у всех соседних, была большая черная кнопка звонка, вделанная в блестящую бронзовую тарелку с эмалированным ободком, с надписью: «Aufgang nur für Herrschaften»¹. Когда кто-нибудь нажимал кнопку, наверху открывалось маленькое окошко, и консержка выглядывала наружу, чтобы рассмотреть посетителя. Если он не выглядел как Herrschaft, или джентльмен, она кричала, чтобы он пользовался входом для прислуги.

¹ Вход для господ (нем.).

Под стропилами крыши располагался так называемый Boden², проходивший по всей длине здания. Служанки пользовались им для стирки, сушки и глаженья постельного белья. В перерывах между работой они напевали дворовые романсы. Мне нравилось подниматься на чердак; там всегда пахло свежестырированным бельем, а белые простыни колыхались на легком сквознячке. Многие из моих модных фотографий были сделаны в местах, напоминавших о детстве, а такие прачечные даже сейчас можно найти в старых больших гостиницах, где я люблю фотографировать.

Наша квартира находилась на третьем этаже здания, имевшего форму башни. Помню, как стоял на балконе и смотрел в небо, чтобы не пропустить прилет дирижабля из Америки. В другой раз наблюдал за ожесточенной схваткой на улице между нацистами, коммунистами и полицейскими.

По центру улицы шла полоска зелени, усаженная деревьями. По обеим сторонам двигался транспорт, а посередине стояли полицейские с дубинками, готовые наброситься на любого нарушителя порядка. Это было в начале 1930-х годов, перед приходом Гитлера к власти; шесть миллионов человек в Германии не имели работы. Экономическая депрессия толкала людей на политические крайности как левого, так и правого толка. Мои родители вообще не интересовались политикой. Они были совершенно аполитичны, что впоследствии сослужило плохую службу моему отцу. Наиболее дальновидные германские евреи отправились в эмиграцию уже в 1933 и 1934 годах, но многие не сознавали масштабов угрозы. О своих убеждениях Гитлер все сказал в «Майн кампф» (Mein Kampf), но тогда никто не читал эту книгу.

Когда мне было пятнадцать лет, я понял: «Это уже не изменится. Нам нужно уезжать».

Материальное положение нашей семьи было прочным, даже во времена невероятно высокой инфляции. Когда люди получали зарплату, они приходили за деньгами с тележкой. Банкноты были такими огромными, что деньги не помещались в руках.

Мой брат коллекционировал их. У нас были альбомы, полные денег.

Квартира была большой, как дом. В ней насчитывалось около десяти комнат, каждая из которых выходила в длинный коридор. В просторной прихожей была большая печь, выложенная зеленой плиткой. Полы в прихожей, как и в остальных комнатах, были паркетными с замысловатым рисунком. На полу лежал восточный ковер. Еще там стоял большой деревянный граммофон, который часто заводили. Мои родители любили танцевать, и, когда устраивали вечеринку, прислуга сворачивала ковер. Я помню, как все танцевали в прихожей.

Дом был обставлен массивной мебелью темного цвета. В столовой царил большой дубовый стол с резными ножками, похожими на огромные штопоры. Дерево было таким темным, что казалось почти черным. Четверо сильных мужчин с трудом могли поднять этот стол. Даже стулья были для меня слишком тяжелыми, поэтому, когда я садился на стул, меня пододвигали к столу. У стены стоял огромный дубовый буфет, напротив возвышались дедовские часы.

Нам давали шпинат, который мы ненавидели. Няня сдавливала мне щеки, заставляя глотать эту гадость. Когда она отворачивалась от нас, мы кидали шпинат за напольные часы. Со временем он высыхал и становился черным, под цвет дерева. Разумеется, в столовой завелись мыши. Вскоре наш шпинатный тайник был обнаружен, что привело к семейной драме и выволочке, которую отец устроил нам с Хансом в Herrenzimmer.

Herrenzimmer, что в буквальном переводе значит «господская комната», была пристанищем отца. Это была курительная комната наподобие кабинета или библиотеки, с большими клубными креслами³, к ручкам которых были прикреплены латунные пепельницы,

² Чердак (нем.).

³ Мягкое кресло с невысокой спинкой, переходящей в подлокотники. (Здесь и далее примечания переводчика.)

повешенные на замшевых ремнях. Стоял большой письменный стол красного дерева, на нем – канделябр. Все в этой комнате было тяжелым и темным, даже темнее, чем в столовой.

Наемная прислуга трудилась не покладая рук. Каждый был обязан являться по первому требованию в любое время дня и ночи. Единственным временем для отдыха у них был вечер четверга и каждое второе воскресенье. Это напоминало рабство.

Помню, как мать выглянула из окна, наблюдая за уходившей с работы горничной, и воскликнула: «Боже мой! Эта девчонка одевается не хуже меня! Она не знает, где ее место. Я этого не потерплю». И действительно, на другой день горничную уволили. Мать просто не выносила подобного: для нее каждый должен был знать свое место.

Еще я помню одну очень хорошенькую служанку из Восточной Пруссии. (В то время многие служанки оттуда приезжали работать в Берлин. Это были пышущие здоровьем девушки с округлыми задницами.) Утром, когда девчонка поднимала шторы в спальне отца, он вставлял в глаз монокль, наклонялся к ней из постели и шлепал по заднице со словами «Teufel! Teufel!» («Черт! Черт!»).



Я со своей няней в парке Шёнеберг, 1922 г.

У меня была собственная комната и няня, чьей единственной обязанностью было заботиться обо мне. Я рос чрезвычайно избалованным ребенком. Мне покупали огромное количество игрушек, запас которых постоянно пополнялся. Я играл с ними несколько дней, пока они были новенькими, а потом забрасывал подальше ради еще более новых. Мне ни в чем не было отказа.

Я был совершенно невыносимым, но очаровательным малышом. Если мне хотелось что-то получить, я приставал к родителям до тех пор, пока мне это не покупали. Помню, как я закатил целый скандал, чтобы мне купили дорогой игрушечный дилижанс. Через три дня после того, как я получил его, он утратил для меня всякий интерес. Еще помню сложную модель поезда, которая стояла и пылилась. Желания других людей были менее важными, чем мои собственные. Было практически невозможно заставить меня делать то, что я не хотел.

У меня было несколько армий игрушечных солдатиков, которые в течение некоторого времени удерживали мое внимание. Я придумывал сложные сцены сражений. Помогала мне бабушка со стороны отца, которая все знала об устройстве армии. Она жила недалеко от нас.

Когда за обеденным столом не ели, его покрывали восточным гобеленом. Я помню, как помогал бабушке скатывать его и убирать со стола, чтобы мы могли поиграть в солдатиков. Мы разглядывали альбомы с рисунками частей и подразделений германской армии, чтобы устроить настоящее поле битвы. Бабушка помогала мне расставлять оловянных солдатиков в правильном боевом порядке. Беда была в том, что после целого дня игры в солдатиков я не хотел играть в них еще несколько недель. Я смотрел, как за окном падает снег, потом начинал топтать ногами и кричать: «Что мне теперь делать? Во что играть?»

Боюсь, что неспособность сосредоточивать внимание на чем-то одном осталась у меня на всю жизнь. Мне очень быстро надоедали однообразные занятия; думаю, отчасти поэтому я никогда не хотел снимать кино. Съёмки кинофильма – это проект, которому нужно уделять массу времени (несколько месяцев, иногда целые годы), а я никогда не отличался подобной усидчивостью. Поэтому я люблю фотографию и всегда говорю, что если работа занимает больше трех дней, она не стоит затраченных усилий. Три дня – это предел для моей сосредоточенности.

У меня были не только игрушки, но и горы книг. Я любил повести Эриха Кестнера «Кнопочка и Антон» или «Эмиль и сыщики». Дядя Мориц, который жил в Лейпциге, руководил издательством. Меня осыпали детскими книгами, опубликованными в нем в красных кожаных обложках и с роскошными иллюстрациями. Дядя Мориц присылал нам самые разные книги, в том числе и всевозможные сказки. Там были басни Эзопа и сочинения Гауфа, сказки Ханса Кристиана Андерсена и братьев Гримм и даже некоторые греческие мифы, все в цветном оформлении.

Некоторые иллюстрации выглядели рискованно, по крайней мере для шестилетнего мальчугана. Помню изображение Клеопатры, плывущей со своей змеей по Нилу. Ее пышная грудь была закрыта плотно облегающим фасонным нагрудником из кованой меди. Полулежащая на подушках на палубе своей ладьи и облаченная в длинную прозрачную юбку, она имела весьма сладострастный вид. Это был очень двусмысленный образ для маленького мальчика.

Одна из книг приводила меня в ужас. Это была история о нищих-ворах, которые похищали детей у богатых родителей. Однажды они похитили мальчика и связали ему ноги таким образом, чтобы казалось, будто у него их вообще нет. Они посадили его на мосту, чтобы он выпрашивал деньги у прохожих. Под угрозой страшных наказаний мальчику запретили разговаривать и звать на помощь.

Я знал, что на берлинских улицах полно нищих, а неподалеку имелся мост, по которому мы часто ходили. Под мостом была линия метро. Каждый день я боялся, что кто-нибудь похитит меня и заставит выпрашивать деньги на этом мосту. Я представлял, как мои родители проходят мимо, не узнавая меня, а я даже не могу позвать на помощь. Мне нравилось пугать себя, представляя свое участие в самых ужасных ситуациях из книг, которые мне доводилось читать.

Другой образ был еще более пугающим – картинка, изображавшая джинна в бутылке. Каждый вечер я брал книгу с собой в кровать и рассматривал картинку при свете фонарика. Я боялся, что джинн выберется из бутылки, сядет мне на грудь и задушит. Я боялся, что он раздавит меня. Каждый раз, когда я думал об этом, я доводил себя до истерики. Стены детской как будто смыкались вокруг меня, и я начинал вопить от страха. Я умолял маму вырвать картинку из книги. Она не хотела портить одну из книг дяди Морица, но в конце концов поддалась на мои настойчивые уговоры и вырезала иллюстрацию.

Во французском языке есть замечательное слово для обозначения пустыря – *terrain vague*. Это место, где растут только сорняки. Такие места можно найти между старыми зданиями, но в моем случае *terrain vague* располагался напротив жилого дома, где я появился на

свет. Летом там иногда разыгрывались ярмарочные представления или проходили выступления артистов маленького бродячего цирка.

Я вглядывался в окно и просил няню взять меня туда, разрешить погулять среди аттракционов, посмотреть на выступление «самой толстой женщины» и обязательно вернуться домой к семи вечера. В этом было нечто запретное. Конечно, ярмарку нельзя было назвать парадом уродов, но некоторые люди показывали себя за деньги.

Сколько я себя помню, мать твердила, что я появился на два месяца раньше срока и поэтому был таким болезненным. Физически я действительно был очень слабым, с неразвитыми мышцами. Из-за моей тщедушности мне старались создавать тепличные условия. Родители строго следили за тем, чтобы я пораньше ложился спать. Только в субботу мне разрешали бодрствовать до девяти вечера и слушать радио по детекторному приемнику. Я включал его сразу же после того, как мама, поцеловав меня, уезжала развлечься в город.



С родителями в Берлине, 1924 г.

Родители постоянно боялись микробов. Меня приучили никогда не прикасаться к перилам лестницы и не позволяли брать в руки деньги. Контакты с другими детьми были очень ограниченными. Мне не разрешали играть в парке в общей песочнице (у меня была личная песочница).

Кое-что из этих привычек навсегда осталось со мной. Я до сих пор не люблю прикасаться к перилам и ненавижу случайные прикосновения других людей. Еще я был отчаянным трусом, я боялся всего и всех.

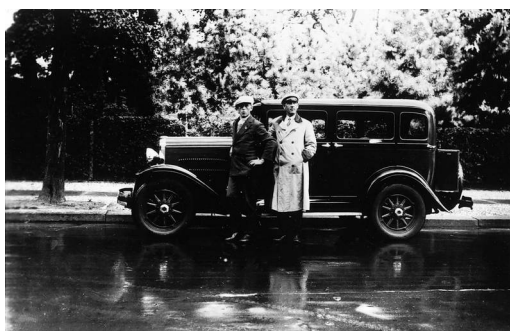
Шофер в форме обычно отвозил меня в школу и забирал после занятий. Больше ни у кого в школе не было автомобиля с шофером.

Ребята часто поджидали меня и награждали зуботычинами, поскольку знали, что я не могу защитить себя. Я приезжал домой, заливаясь слезами. Само собой, мне не нравилось служить мишенью для их кулаков и грубых шуток. Впрочем, они делали это не потому, что я был евреем, а потому, что считали меня трусом и неженкой.

Положение усугублялось тем, что мама одевала меня как девочку. Я носил бархатные костюмчики с высоким жестким воротником (он назывался «воротник Шиллера») и большими бантами из тафты. К коротким штанишкам костюма прилагались белые носки и лакированные туфли. Больше никто не одевался подобным образом. В довершение ко всему мама

стригла меня как мальчика-пажа, а-ля Луиза Брукс. Я выглядел как маленький лорд Фаунтлерой. Когда случалось зайти в магазин, мне говорили: «Здравствуй, малышка!»

Я то и дело падал в обморок. Я мог сидеть за столом, а в следующее мгновение уже без чувств лежал на полу. Обмороки случались так часто, что мои родные почти перестали обращать на них внимание. Они говорили: «А, это Хельмут снова упал в обморок. Ничего страшного». Когда я терял сознание, мать обычно велела няне опустить мои руки в холодную воду, чтобы привести меня в чувство. Родители водили меня к врачам, которые не могли обнаружить никаких физических недугов и думали, что это «от нервов», как у моей матери, которая считала себя очень чувствительной женщиной. Она заставляла всех верить в это, но я не убежден, что так было на самом деле. Думаю, она выбрала эту роль, чтобы подавлять нас, и с большим успехом играла ее. Помню, как она театральным жестом бралась за переносицу большим и указательным пальцем и вздыхала: «О боже, мои нервы! Мои нервы!»



Наш шофер Иоахим (в униформе), сфотографированный матерью
рядом с нашим первым семейным автомобилем Essex Super Six, 1930 г.

В рабочие дни отец устраивал второй завтрак в городе, и мы разделяли полуденную трапезу втроем: мама, мой сводный брат и я. Мы с Хансом часто ссорились, поэтому мама клала рядом с собой черный блокнот, когда садилась за стол. Она обычно говорила: «Вы, мальчики, так балуетесь, что я начинаю ужасно нервничать и не могу справиться с вами. Лучше я буду записывать все ваши слова и поступки в этот блокнот, а когда папа придет домой, я все ему покажу, и он разберется с вами». Так она пользовалась своими «нервами», чтобы призвать нас к порядку. Мы действительно боялись этого черного блокнота.

Когда мама забирала меня из школы, она иногда наклонялась ко мне и спрашивала: «Скажи, Хельмут, как я сегодня выгляжу? У меня много морщинок?» Разумеется, к тому времени я уже достаточно соображал, чтобы не говорить «да, очень много». Я отвечал: «Сегодня ты прекрасно выглядишь, мама, у тебя нет ни одной морщинки», и она оставалась довольна.



Мой отец и я, одетый как маленький лорд Фаунтлерой

У меня были очень слабые лодыжки. Когда я шел с мамой за руку, то примерно через каждые двадцать метров спотыкался обо что-нибудь и подворачивал стопу. При этом мама обычно всплескивала руками и восклицала: «Что ты со мной делаешь? Из-за тебя я перенервничала!» Затем я получал по макушке кольцом с большим бриллиантом, который она по такому случаю поворачивала к ладони. Это было нечто незабываемое, особенно если сопровождалось словами: «Ты вгоняешь гвоздь в крышку моего гроба!»

Квартира на Иннсбрукерштрассе находилась совсем недалеко от общественного парка Шёнеберг. Каждый день с двух до четырех часов дня нас с няней изгоняли из дома и отправляли в парк, чтобы мама могла немного вздремнуть. Отступлений от этого правила не допускалось; нам не разрешалось оставаться дома. Малейший шум, самый тихий скрип половицы в это время вызывал у матери истерический припадок.

Нас выгоняли из дома в любую погоду, невзирая на дождь или мороз. Меня возмущало такое отношение; казалось, что маме безразлично, замерзнем ли мы с няней до смерти в парке или нет. Мать говорила, что это полезно для моего здоровья («Тебе нужно побольше дышать свежим воздухом, дорогой!»), но думаю, это была чистой воды эгоизмом с ее стороны. Тем не менее я был единственным членом семьи, который всегда получал то, что хочет.

Зимой меня тоже одевали в короткие штанишки с длинными шерстяными чулками и короткую курточку. Я замерзал. Для меня эти ежедневные прогулки были настоящей пыткой, жестокой, принудительной маршировкой. Они навсегда запечатлелись в моей памяти. Уверен, что еще и поэтому я люблю лето и с трудом переношу зиму.

Ханс был на десять лет старше меня, и мое раннее детство совпало с его подростковым возрастом. Он собирал коллекцию журналов для мужчин, которая хранилась в запечатом ящике письменного стола в его спальне. Особенно мне запомнился ежемесячный *Das Magazin*, всегда с изображением обнаженной женщины на обложке. Там был раздел с красивыми голенькими моделями, носившими туфли на низком каблуке, как было модно в те дни, и черные шелковые чулки, державшиеся только на круглых резинках, без поясов и подвязок. Мои родители ничего не знали об этих журналах, но мне было известно, где они лежат. Я даже научился открывать запечатый ящик стола. Аккуратно отжимал ящик, брал журналы и запирался в туалете, чтобы внимательно изучить их.



С отцом в парке Шёнеберг, 1923 г.

У матери была навязчивая идея насчет запоров. Мне не разрешалось спускать воду до тех пор, пока она не осматривала содержимое унитаза. Думаю, это очень по-немецки: поезда должны ходить точно по расписанию, а физиологические потребности нужно удовлетворять с неизменной регулярностью.

Поскольку я рассматривал мужские журналы в туалете, то проводил там массу времени. В конце концов мать пришла к убеждению, что я страдаю запорами.

Однажды она перехватила меня на пути в комнату брата, когда я возвращался из туалета с журналом *Das Magazin* под мышкой. «Что это у тебя, Хельмут?» – спросила она. Мне было всего лишь шесть лет. Пришлось показать ей журнал и признаться, откуда я его взял. Последовала ужасная сцена: мать забрала все журналы из ящика стола и сожгла их. Мне крепко досталось от брата, но для меня в этом не было ничего неожиданного. Он довольно часто колотил меня, пока я был маленьким.

Очевидное предпочтение, выражаемое мне родителями, сильно повлияло на мои детские отношения с Хансом. Он остро сознавал свое положение приемного сына. Его единственным союзником был богатый дядя Эдуард, брат моей матери, который жил на роскошной вилле в Дахлеме. Все говорили, что они с Хансом очень похожи. Они были очень близки.

Мать пыталась скрывать свое предпочтение ко мне, но отец этого не делал. Он был строг с Хансом и не позволял ему забывать, что не считает его родным сыном. Даже полное имя у Ханса было другим. Его звали Ханс Эгон Холландер, по фамилии отца. Уверен, что жизнь в нашем доме была для него сущим наказанием и он терпеть меня не мог.



Мама, Ханс и я в Бад-Гарцбурге, 1923 г.

Он старался делать мне пакости при любой возможности. То обстоятельство, что я был чрезвычайно избалованным ребенком, лишь облегчало задачу. Помню, как однажды утром мы с ним гуляли в Грюневальде. Тогда мне было около пяти, а ему пятнадцать. Мы подошли к густым зарослям крапивы, и он сказал: «Если ты посидишь там, я дам тебе двадцать пфеннигов».



Мама, Ханс и я, 1926 г.

В тот день на мне были короткие штанишки. Я не имел ни малейшего представления о том, что такое крапива, но возможность получить двадцать пфеннигов выглядела привлекательно. Поэтому я незамедлительно сел в крапиву и завизжал. Она обожгла мне ноги и даже задок через тонкие шорты. Я заходился в крике. Когда мы вернулись домой, мама задала Хансу серьезную взбучку, отчего он еще больше обозлился на меня, и я так и не получил свои двадцать пфеннигов. Вот такие у нас были отношения с братом.

В подростковом возрасте Ханс был чрезвычайно разболтанным молодым человеком. Он ненавидел школу и был еще более плохим учеником, чем я, если такое вообще возможно. Три года подряд его не переводили в следующий класс. Он очень увлекался подвигами американских гангстеров. Джек Даймонд был его кумиром, и Ханс старался подражать ему. Он

выпросил себе двубортный костюм из ткани в тонкую полоску с широкими лацканами и носил яркие парчовые жилеты. Волосы он расчесывал на прямой пробор и смазывал бриллиантином. Некоторое время он носил дома еще и сеточку для волос. В довершение ко всему он отрастил маленькие усы наподобие киноактера Адольфа Менжу.

Он действительно был похож на гангстера, и родителей это не радовало.

Дело было не только в его манере одеваться. Ханс со своими друзьями плавал на каноэ, которые в те дни были очень модными. Каждое суденышко было названо в честь американского гангстера. Каноэ Ханса, разумеется, называлось «Джек Даймонд», а каноэ его лучшего друга – «Аль Капоне». На выходные они каждый раз отправлялись на озеро Ванзее вместе с лодками. Каноэ были снабжены откидными брезентовыми фартуками, так что ребята даже спали в них с девочками. Я этого не мог представить, зная форму каноэ.

Мне было около семи лет, когда Ханс свел знакомство с нехорошей компанией. Он вступил в шайку взломщиков, совершавших квартирные кражи в окрестностях Шёнеберга. Однажды, когда родители забрали меня с собой на выходные, он остался дома вместе с прислугой. Он сообщил своим приятелям, что можно неплохо пожить, и даже открыл им заднюю дверь.

Когда мы вернулись домой, Хансу пришлось выдержать семейное расследование, проводимое отцом, который был особенно строг с ним и обвинял в предательстве семьи. После инцидента Ханс находился под жестким надзором, и ему пришлось отказаться от связей со взломщиками. Впрочем, это не помешало ему связаться с молодыми людьми, пусть не игравшими в гангстеров, зато не пропускавшими ни одной юбки в округе.

Помню, как он с друзьями ездил на такси или на частных машинах в соседние деревушки вокруг озера Дистрикт. Около десятка парней ходили по окрестностям и рассказывали наивным сельским девушкам, что они собираются снимать кино и проводят пробы для набора актрис. Предложение обычно звучало так: «Ложись сюда, и я сделаю тебя звездой». Разумеется, местные жители понятия не имели о кинопробах, так что Ханс со своими приятелями развлекался на всю катушку.

Ханс был комедиантом и балагуром. Он любил рассказывать еврейские анекдоты за обедом и часто переходил на идиш, что крайне раздражало моего отца, который ударял кулаком по столу и восклицал: «Я не потерплю подобных разговоров за моим столом!» Отец хотел, чтобы мы жили как настоящие немцы, и не разрешал разговаривать на идиш. Поскольку Ханс очень плохо учился в школе, отец заставлял его заниматься семейным бизнесом. Брат ненавидел это почти так же сильно, как школьные занятия. Он изо всех сил старался расстроить дела, насмехаясь над клиентами и отпуская скабрзные еврейские шутки. Он отвечал по телефону из рабочего кабинета моего отца голосом комедийного актера Филиппа Брессара, которому научился в совершенстве подражать. Поскольку у большинства клиентов не было чувства юмора, они не могли это оценить. Это страшно раздражало отца, ведь все клиенты обращались с жалобами к нему. Ханс стал притчей во языцех, и в доме постоянно происходили трения из-за его будущего.

В конце концов он добился своей цели – отец выставил его из компании, поскольку от него было больше вреда, чем пользы. Когда Ханс находился в хорошем расположении духа и был дружелюбно настроен ко мне, он брал меня на прогулки. Однажды, когда мне было семь лет, мы шли по Тауэнтцинштрассе к знаменитому универсаму KaDeWe. На углу улицы стояла какая-то женщина. Ханс указал на нее и обратился ко мне: «Смотри хорошенько, Хельмут. Это знаменитая Рыжая Эрна». Женщина была проституткой, хорошо известной в этом районе Берлина, а Рыжей Эрной ее называли потому, что она красила волосы в огненно-рыжий цвет, надевала красные сапоги для верховой езды и носила хлыст. Так произошло мое знакомство с порочной стороной берлинской уличной жизни.

В отцовской Herrenzimmer стоял книжный шкаф с косоугольными стеклянными дверцами и зеленой шелковой шторкой на тонких латунных стержнях. Одна половина шкафа была открыта, другая заперта. В открытой части стояли красивые подарочные издания от дяди Морица. Научившись читать, я прельстился запретными книгами, хранившимися в другой половине шкафа.

Я нашел место, где прятали ключ, и вскоре стал по вечерам таскать в постель книги. Вместо того чтобы рассматривать картинку джинна в бутылке и пугать себя до полусмерти, я начал читать книги, похищенные из отцовской библиотеки. У меня был маленький карманный фонарик, который испускал лишь слабый красноватый свет, когда садились батарейки. (Денег, которые мне выделяли, не хватало на покупку батареек; кроме того, это могло бы навлечь на меня подозрение.) Я продолжал читать, даже когда едва мог различать буквы. Я начал носить очки в очень раннем возрасте.

Родители, очевидно, считали, что я еще не дорос до подобной литературы. Но я читал с удовольствием, и замечательную повесть «Барышня Эльза» (Fräulein Else) Артура Шницлера, и романы Стефана Цвейга. Многие сцены были двусмысленными, но не похабными. В немецком языке для таких случаев есть емкое слово schwul – то есть они были чувственными, довольно откровенными и очень эротичными. Прямо ни о чем не говорилось, но мне было вполне понятно, о чем идет речь.

С самого раннего возраста лето было моим любимым временем года. Дело было не только в теплой погоде, ярмарках и прочих развлечениях. Я радовался окончанию школы, вызывавшей у меня отвращение. Учился я из рук вон плохо, но это меня не волновало. Как и мой брат Ханс, я с нетерпением ожидал летних каникул, когда можно будет уехать на курорт.

На Иннсбрукерштрассе был нищий, который играл на скрипке. Летом, когда обеспеченные семьи уезжали на морское побережье, он тоже собирал свои пожитки, и вскоре его можно было видеть играющим на скрипке на променаде набережной в Херингсдорфе – приморском курорте, куда обычно ездили отдыхать еврейские семьи. Альбек, расположенный лишь в нескольких километрах оттуда, был прибежищем первых нацистов и последователей организации «Стальной шлем» (Der Stahlhelm). Над Херингсдорфом реяли флаги Веймарской республики, а над Альбеком развевались знамена со старой кайзеровской символикой или со свастиками.



С матерью и отцом на курорте, 1933 г.

Для курортников существовало много мероприятий, таких как детские конкурсы красоты и concours d'elegance под названиями «Дама и ее автомобиль» или «Дама и ее собачка». Все участницы надевали самые красивые платья или пляжные пижамы. Мама наряжала меня как куклу и вела на детский конкурс красоты вместе с пекинесом по кличке Тайка. К ее большому разочарованию, я так и не завоевал ни одного приза, потому что каждый раз, когда меня вытаскивали на сцену и ставили перед судьями, я разражался бурными рыданиями.

Летом родители неизменно проходили курс лечения. Они останавливались в дорогих гостиницах, главным образом в пределах Германии, куда люди приезжали на целебные источники. Женщины флиртовали или заводили интрижки с привлекательными докторами, которые, как правило, были молодыми мужчинами. У взрослых имелась своя столовая с площадкой для танцев в центре, а дети и их няни ходили в другую. Наемные партнеры и партнерши для танцев сидели за отдельными столами, в стороне от важных господ.

Однажды мы гостили в отеле где-то в предгорьях Гарца, где каждую пятницу после позднего обеда устраивали танцы. В саду горели фонари, а столовая превращалась в балный зал. Дамы, включая мою мать, носили жемчуга и открытые вечерние платья. Думаю, мне тогда было не больше четырех лет, и я задохнулся от восторга, когда одна дама в вечернем платье подняла меня и посадила себе на плечи, придерживая за руки своей рукой. Помню, что испытал первую эрекцию.



Отец, брат и я в Херингсдорфе, 1923 г.

Мой отец ездил поправлять здоровье в санаторий под названием «Белый олень» среди холмов под Дрезденом. Однажды мама решила, что было бы хорошо преподнести отцу небольшой сюрприз и навестить его. Мы выехали вечерним поездом из Берлина. Бедная мама, страдавшая желчекаменной болезнью, испытала ужасные приступы боли, вызванные тряской поезда, и стонала. Я, будучи семилетним мальчуганом, не имел понятия, что делать, и трясся от страха всю поездку. Когда мы приехали на станцию, боль улеглась и мама вернулась в свое обычное «нервное» состояние. Мы взяли такси до санатория, въехали в ворота и сразу же увидели на большой лужайке перед главным зданием отца и еще одного берлинского бизнесмена средних лет, одетых в просторные черные шорты и белые трикотажные рубашки. Они перебрасывались большим так называемым «медицинболом» с тремя хорошенькими блондинками, которые оказались инструкторами по физической подготовке.

Остальной персонал санатория составляли примерно такие же «сотрудницы». Разумеется, мама тут же заставила отца собраться, и вскоре мы все ехали обратно в Берлин.

Когда брату было пятнадцать или шестнадцать лет, он безумно влюбился в жиголетку (наемную танцовщицу), постриженную под мальчика. Помню, как отец застал его в ванной с голой жиголеткой – Ханс подбривал ей шею. Отец устроил ужасную сцену. Это была очередная семейная драма, после которой мой брат, преисполненный мстительных чувств, собрал целую кучу маленьких лягушат и рассовал их в горчичницы на обеденном столе. Некоторое время спустя, когда в гостинице подали чай, он опустошил несколько серебряных заварочниц в форме яйца и засунул сырую чайную заварку в ящик для писем. Ящик был забит открытками, которые постояльцы отправляли своим друзьям и знакомым. Потом Ханс взял меня с собой подсмотреть, как почтальон забирает слипшуюся массу писем и открыток.

Во время одного из визитов в санаторий я сам закатил сцену, внезапно появившись перед матерью, когда она пила чай в саду со своими друзьями. Мне кто-то предложил прокатиться на ассенизационной телеге и усадил впереди рядом с водителем на скамью, у которой не было спинки. Возница резко осадил лошадь, и я плюхнулся спиной в жидкое дерьмо. Мама пришла в бешенство, когда ее чудесная беседа за чашкой чая была испорчена смердящим ребенком, а меня сразу повели в ванную.

Когда семья возвращалась домой из отпуска, вся прислуга собиралась, чтобы поприветствовать нас. Люди держали табличку с надписью «Добро пожаловать домой», купленную в лавке канцелярских принадлежностей, либо изготовленную вручную. Табличка непременно должна была находиться над головами слуг, иначе отец приходил в ярость. Это было частью особого ритуала.

Я обожал воскресенья. Поутру отец брал меня с собой на Грюнвальдштрассе, чтобы пропустить стаканчик-другой со своими друзьями. Эти аперитивы назывались *Frühschoppen* («опохмелка»), но на самом деле были просто предлогом для мужского общения. Мне нравилось слушать, о чем они говорили.

Думаю, эти воскресные утренние выходы в город со стороны отца были попыткой противостоять феминизирующему влиянию матери. По мере того как я становился старше, он начал сознавать, что внешность и поступки его дорогого сына не отличаются той мужественностью, которой ему бы хотелось. Когда мне было девять лет, он отправил меня в гимнастическую школу для «недоразвитых» еврейских детей на Харденбергштрассе. Школой руководили две сестры, старые девы. Я ненавидел их. Я ненавидел гимнастику. Я ненавидел запах пота от женских и мужских тел.

Все мы были примерно одного возраста и носили спортивные фуфайки с одинаковыми инициалами «Т. Г.». Это была монограмма владелиц гимнастической школы, но мама, увидев меня в этой форме, обычно говорила: «Вот идут *Tiller Girls*» (так называлась очень популярная группа танцовщиц в берлинских кабаре). Конечно, от этого я еще больше ненавидел спортивные занятия.

Меня заставляли ходить на занятия дважды в неделю. Мы ложились на спину и поднимали ноги над головой, выпрямив колени. Мои колени всегда оставались полусогнутыми отчасти потому, что они вообще были вывернуты внутрь. Помню, как преподавательница подходила, наклонялась ко мне и толкала мои ноги вверх, чтобы выпрямить колени. При этом я всегда нарочно пукал ей в лицо. Вскоре она оставила меня в покое – очевидно, такое испытание оказалось для нее непосильным. Я так и не стал мускулистым молодым человеком.

Отец понимал, что попытка сделать из меня мужчину потребует от него немалых сил. Я часто падал в обморок. Боялся всего на свете. Меня одевали как девочку. Я был плаксивым,

избалованным хлюпиком. Вряд ли отец ощущал поддержку со стороны матери: она любила меня со стрижкой мальчика-пажа и в бархатных костюмчиках.

Когда мне исполнилось двенадцать, он сделал единственную вещь, которую смог придумать. Ничего не сказав матери, он отвел меня к брадобрею и сделал мне короткую стрижку. Увидев меня, мать разразилась слезами. «Боже мой! Где мой хорошенький маленький Хельмут?» – восклицала она в перерывах между рыданиями. Дни вельветовых костюмчиков и причесок-одуванчиков остались в прошлом. Я так и не поблагодарил отца за то, что он сделал, но это изменило мою жизнь.

Глава вторая ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА

Берлин всегда был музыкальным городом. В 20-е годы и в начале 30-х огромной популярностью пользовались американские джазовые ансамбли, которые регулярно выступали в клубах и кабаре. Мы сходили с ума по джазу. Я особенно любил Кэба Гэллоуэя, Джека Хилтона, Дюка Эллингтона.

В подростковом возрасте у меня был переносной граммофон под названием «Электрода», хранившийся в небольшом чемоданчике. Он был обтянут черным ледерином, и я дорожил им больше всех остальных своих вещей. Я вырезал картинки из журналов и наклеивал их на ледерин.

В отделении под крышкой хранились пластинки на 78 оборотов в защитных конвертах из коричневой бумаги. В нижней части чемоданчика располагался динамик и проигрыватель. По обе стороны от проигрывателя находились маленькие пазы для хранения стальных игл. Помню красивые оловянные коробочки, в которых продавались иголки, с изображением собаки и надписью «Голос его хозяина» на крышке. Эти граммофонные иглы служили очень недолго. Я использовал их до тех пор, пока они не становились совершенно тупыми и не начинали царапать пластинки. Когда заканчивались иголки и не было денег, чтобы купить новые, я даже пробовал проигрывать пластинки с помощью ногтя на большом пальце.

Я включал музыку на полную громкость в любое время дня и ночи. Иногда мама заходила ко мне в комнату и спрашивала, почему я не слушаю «Голубой Дунай».

Мне давали уроки игры на фортепиано, но в один прекрасный день учитель музыки решил пощупать мои короткие штанишки, после чего я с криком выбежал из комнаты и больше уже не вернулся туда. Мама была солидарна со мной; ее ужаснуло, что «милый маленький Хельмут» едва не стал гомосексуалистом.

Родители считали важным, чтобы я овладел всеми светскими умениями, включая балльные танцы. В каждой состоятельной еврейской семье из поколения в поколение существовал обычай устраивать детей в частную танцевальную школу. Мой брат прошел через это испытание, а в двенадцать лет настала моя очередь. Уроки проходили по субботам во второй половине дня.

Мы с друзьями начали прогуливать уроки и заглядывать в бары на Тауэнтцинштрассе, где танцевали горничные, а иногда и проститутки. Мы считали себя очень остроумными и предприимчивыми. Иногда мы закуривали сигареты, элегантно держали их между двумя пальцами, а потом приглашали девушек потанцевать. Конечно, мы делали это только для того, чтобы пообжиматься втихую и испытать приятные ощущения.

Вот так я учился танцевать. Неудивительно, что я так и не стал хорошим танцором.

Для дополнительной танцевальной практики мама после пятичасового чая брала меня на танцы в саду на крыше гостиницы Eden, рядом с зоопарком. Мне очень нравилось сопровождать ее. Я до сих пор помню шатровую арку в стиле ар-деко на фасаде гостиницы. Гостиница была изящной, шикарной и воплощала для меня все то, что я любил в Берлине. Мне нравилось мчаться в подземке или ехать на крыше автобуса и глядеть вниз на улицу. В то время для молодого человека Берлин был замечательным городом.

Я всегда интересовался фотокамерой отца: большим раздвижным Kodak модели Etui. Камера была обтянута кожей и снабжена оптическим экспонометром. Нужно было смотреть в отверстие на голубой огонек, а затем, после сложных расчетов, определять нужную экспозицию для съемки. Фактически, чтобы нажимать на затвор, человек должен был обладать хорошими математическими способностями.

Негативы получались большими, нестандартного размера. Отец сделал довольно много неплохих фотографий, включая большинство снимков, где я в детстве позировал с матерью.

Разумеется, мне никогда не разрешали пользоваться фотоаппаратом. Однако в 1932 году, вскоре после «взрослой» стрижки, я купил свою первую камеру на карманные деньги. Камера, приобретенная в магазине ЕРА, была немецким аналогом Woolworth и называлась Agfa Tengor-Vox. Я сразу же решил отснять первую катушку (восемь кадров 6×9 см) в берлинском метро. Когда я вышел из метро на станции Вицлебен, на пленке остался один неотснятый кадр. Передо мной возвышалась берлинская радиовышка Funkturm. Я навел камеру на нее, наклонив немного по диагонали, и нажал на затвор. Когда я забрал проявленную пленку из аптеки на углу, семь кадров вышли пустыми (те, что были сделаны в метро), а на восьмом красовалось немного смазанное изображение радиовышки. Я решил, что это замечательный снимок, и понял, что начинаю карьеру знаменитого фотографа. Оригинал этого снимка пропал во время скитаний моей молодости.

Мой отец ставил свой автомобиль Essex Super Six в большом гараже за углом нашего дома. Там было еще несколько мест, на одном из которых парковался роскошный американский Cord белого цвета с открытым верхом, принадлежавший прославленному фотографу Мункази. Тогда я уже заболел фотографией и прятался в углу гаража, ожидая, пока Мункази поставит машину, вытащит кучу фотокамер с заднего сиденья и исчезнет на улице. Я восхищался его снимками, регулярно публикуемыми в Berliner Illustrirte, который нам доставляли по почте еженедельно вместе с массой других журналов. Я воображал себя в роли известного репортера, разъезжающего по всему свету и небрежно помахивающего пресс-карточкой, открывающей доступ в самые роскошные и престижные места. Шел 1933 год, мне было тринадцать.

Я уже был ревностным читателем, но теперь с головой погрузился в книги и журналы по фотографии. Я обшаривал берлинские журнальные киоски в поисках материала. Я проглатывал фотожурналы Berliner Illustrirte и давно любимый братом Das Magazin. Словно губка, я впитывал все образы из этих журналов. Особенно сильное впечатление на меня произвела фотография Хайнца фон Перкхаммера, изображавшая красивых блондинок в автомобиле BMW. Это называлось жанровой фотографией.



Репродукция моей первой фотографии берлинской радиовышки

Я буквально помешался на фотографии, а также на сексе – или, по крайней мере, на его возможности. Первым «французским» поцелуем я обменялся с дочерью консьержки на Иннсбрукерштрассе. Мы играли в жмурки на вечеринке (в Германии эта игра называлась «слепой короной»), выключив свет и завесив окна плотными шторами. Стоило ей пошевелить языком у меня во рту, как я уже был готов ко всему на свете.

31 октября 1933 года я отмечал свой тринадцатый день рождения. В большинстве еврейских семей над мальчиками этого возраста принято совершать обряд бар-мицвы, но ни я, ни Ханс не проходили церемонию посвящения. Мама говорила, что я не могу пройти бар-мицву, потому что это было бы несправедливо, ведь Ханс в свое время не прошел ее. Я был обрезан, а Ханс нет. Мы не были религиозной семьей. Отец брал меня в синагогу два или три раза в году, но мама вообще не ходила туда. Я тоже не интересовался религией, считая ее сплошной скукой.

Мы не соблюдали большинства еврейских обычаев. Мы не праздновали Хануку, зато праздновали Рождество, с настоящей елкой. Мы обменивались подарками в канун Рождества, который в Германии считается еще более важным, чем сам день Рождества. Это было чисто семейное мероприятие, не связанное со светскими выездами. Мы посещали родственников – не только многочисленную родню моего отца, но и членов маминой семьи.

У меня был двоюродный брат по матери, которого звали Беннет Виссман. Он выглядел как иудей в десятом поколении, хотя был лишь наполовину евреем, и работал в компании Tobis Film. Когда я стал более серьезно заниматься фотографией, Беннет много помогал мне. Кажется, благодаря ему я впервые познакомился с работами Брассаи, великим мастером ночной фотографии. У меня внезапно возникло сильное желание снимать ночной Берлин, но беда была в том, что мне не разрешали поздно выходить из дома без сопровождения. В конце концов Беннет пришел мне на помощь и вызвался сопровождать меня в прогулках по вечерним улицам. Мы обошли весь Берлин. Я до сих пор помню, как прекрасен был город в сумерках, когда зажигались газовые фонари, а машины проезжали мимо, сверкая фарами.



Мое представление об «удалом репортере», 1933 г.

Я люблю сумерки. Моя жена Джун иногда заходит в мой рабочий кабинет и говорит: «Как ты можешь сидеть здесь без света? Уже почти стемнело». Я люблю сумерки из-за таинства огней, мало-помалу зажигающихся то тут, то там. Джун любит рассвет, а сумерки угнетают ее, я же сижу без света до тех пор, пока перестану что-либо различать.

Кузен Беннет нравился мне еще и по другой причине. После наших экскурсий мы собирались за столом для церемонии под названием «Кофейная сплетница». Я с родителями и Беннет с женой Эльзой пили кофе и ели пирожные. Эльза была профессиональной конькобежкой и выступала на ледовых представлениях. Она обладала внешностью «истинной арийки», и я не имел представления, каким образом ей удастся ладить с еврейской частью семьи. Иногда она устраивала со мной вольные игры под столом, от которых я приходил в неистовое возбуждение.

С десяти лет я прекратил ходить в Volksschule (начальную школу) и поступил в реальное училище имени Генриха фон Трейчке на Принцрегентштрассе, которое пользовалось репутацией школы с сильным нацистским уклоном. Там учились только мальчики. Лицей для девочек находился за углом от дома на Иннсбрукерштрассе. Нам нравилось подглядывать через ограду, как они играют в ручной мяч, и наблюдать, как прыгают их груди под тонкой спортивной формой.

Тогда я еще ходил на уроки гимнастики два раза в неделю и на занятиях регулярно пускал газы в лицо старым девам. В конце концов отец признал, что гимнастика никогда не будет моим видом спорта, но не отказался от попыток сделать своего сына более сильным и мужественным. Когда мне стукнуло тринадцать, он определил меня на занятия плаванием в спортивный клуб Halensee Schwimmbad.

Сначала меня приходилось заталкивать в бассейн, но постепенно я научился плавать и даже стал хорошим пловцом. Я вступил в клуб под названием BSC (Berliner Schwimm-Club) и вскоре получил диплом «Мертвая голова» за то, что проплавал без остановки три часа подряд. У меня начала формироваться фигура пловца – худощавая, с обтекаемыми формами и хорошо развитым плечевым поясом. Мне нравилось, как я выгляжу, и нравилось находиться в воде. Я чувствовал себя в своей стихии. Плавание постепенно стало моей страстью.

Но не только плавание привлекало меня. Разумеется, на занятия по плаванию ходили и девушки, чей вид доставлял мне огромное удовольствие. В отличие от культуристов и тяжелоатлетов, у пловцов нет выпирающих мышц и сухожилий; их тела гладкие и элегантные, как у дельфинов. С тех пор я всегда любил фотографировать пловцов.

В те дни девушки носили закрытые черные купальники, но это не мешало им выглядеть соблазнительно. Костюмы были сделаны из тонкой шерсти, которая прилегала к телу и высыхала очень медленно. Поскольку костюмы оставались влажными в течение долгого времени – особенно на груди, где шерстяная ткань была толще, – соски девушек выпирали наружу. Такие купальные костюмы были предшественниками будущих конкурсов «мокрых маек».

Я все еще оставался девственником, хотя мастурбировал как сумасшедший. Это было замечательное времяпрепровождение, доставлявшее мне огромное удовольствие. Мои родители знали, что происходит; пятна на простынях скрыть было невозможно.

В некоторых странах подросткам внушают, что от мастурбации начинают расти волосы на ладонях. В Германии того времени нам внушали, что от чрезмерного онанизма появляются темные круги под глазами. Поутру я смотрелся в зеркало, видел темно-фиолетовые круги под глазами и думал, что теперь весь мир будет знать, чем я занимаюсь. Сначала это сильно беспокоило меня, но вскоре я перестал волноваться. Однако мама продолжала тревожиться.

В конце концов она сказала, что хочет устроить мне встречу с доктором, и отправила меня к семейному врачу, доктору Баллину.

Доктор Баллин оказался совсем не ханжой. Он усадил меня рядом с собой и прочел удивительную лекцию. «Итак, мой мальчик, я уже говорил с твоими родителями, и они попросили меня побеседовать с тобой. Могу сказать, что тебе будет гораздо лучше делать “бум-бум” с девушкой, чем мастурбировать. Это и полезнее, и приятнее. Думаю, для тебя настало

время завести себе подружку». В его устах «бум-бум» звучало как нечто совершенно невинное, но я прекрасно понимал, о чем идет речь.

Круги под глазами по-прежнему много означают в моей работе. Обычно, когда фотограф работает с моделями, те пользуются тональным гримом для маскировки кругов или мешков под глазами. Я всегда говорю гримеру (уже долгие годы), чтобы он не прятал «круги от мастурбации», а когда у модели их нет, я говорю: «Пожалуйста, добавьте темные круги, как от мастурбации, под глазами – так будет гораздо интереснее!» Сейчас гримеры уже привыкли к этому.

Летом я познакомился с газетными фотографами, жившими неподалеку от нашей квартиры на Иннсбрукерштрассе. Двое фотографов работали в квартире, где они устроили темную комнату. Они брали с собой подборки газетных текстов и делали серии снимков для будущих статей. Кроме того, они продавали свои фотографии и статьи в ряд немецких журналов. Когда я рассказал им, как сильно увлекаюсь фотографией, они предложили мне выполнять для них разную мелкую работу.

Для меня это была возможность, дарованная небом. Я готовил кофе, сортировал статьи и негативы, ходил за пленкой и реактивами. Родителям об этом я ни слова не говорил.

В 1934 году, когда мне было почти четырнадцать лет, мы переехали с Иннсбрукерштрассе на Фридрихсруэрштрассе – красивую зеленую улицу в одном из шикарных районов Берлина. Я был очень рад, поскольку оттуда было лишь десять минут ходьбы до Halensee Schwimmbad, где я занимался плаванием.

Квартира располагалась на двух этажах. Моя комната и кухня находились на первом этаже, а для подачи блюд в столовую на втором этаже пользовались кухонным лифтом. Я развлекался, катая на этом лифте бедную собачку Тайку, которая дрожала всем телом, когда наверху открывались дверцы.

Несчастной Тайке пришлось пережить и другие унижения. Отец иногда брал меня в передвижной цирк Krone или Sarrasani. Мне нравились укротители и львы, хотя я боялся их как огня. Однажды, вернувшись домой, я смастерил кнут из палки и куска веревки и принялся щелкать им перед носом у испуганной Тайки с криком: «Давай, Соня, прыгай!» Соней звали одну из львиц в цирке Sarrasani, и укротитель точно так же кричал, когда заставлял ее прыгать через кольца.

В моей комнате раньше находилось помещение для горничной, поэтому она была снабжена отдельным выходом. Родители уважали мое уединение и никогда не входили без уведомления. По сравнению с растительным существованием, которое я вел в детстве под надзором матери и няни, теперь мне была предоставлена гораздо большая независимость.

В 1934 году был опубликован проект Нюрнбергских законов о расовой чистоте. Несмотря на сложность формулировок, они, помимо других вещей, были предназначены для отделения евреев от «арийцев». Моя мать была настолько шокирована, что перевела меня из гимназии имени Генриха фон Трейчке в американскую школу в Берлине. Уже тогда в гимназии и в других немецких школах еврейских учеников отделяли от так называемых арийских воспитанников. В нашем классе не было каких-то особенных недоразумений между евреями и неевреями, хотя многие из моих одноклассников вступили в гитлерюгенд.



Я с моим пекинесом Тайкой, 1934 г.

Между нами не было враждебности; напротив, мы очень хорошо ладили друг с другом. Мы учились вместе уже четыре года.

Но после принятия новых законов учителя стали сажать еврейских детей на задние парты, так что налаженная с годами система взаимопомощи совершенно развалилась. Еврейские дети часто были умнее и прилежнее «арийцев», которые теперь не могли легко списывать у них.

Мой отец считал, что ситуация начинает заходить слишком далеко. Он все еще был уверен, что скоро все кончится, что Гитлер не задержится надолго на вершине власти. Отец принадлежал к тем евреям, которые были более ревностными патриотичными немцами, чем сами немцы: Железный крест 1-й степени, служба в немецкой армии во время войны 1914–1918 годов и все прочее.

Мои собственные чувства по этому поводу оказались совершенно иными. Я прекрасно понимал, что происходит, но мне было наплевать на мнение обеих сторон. Было жаль, что отец перевел меня в школу при американской церкви в Берлине на Ноллендорфплатц, поскольку там преподавали только на английском языке. Для четырнадцатилетнего подростка необходимость изучать алгебру, историю и все остальные предметы на английском была сплошным кошмаром.

Я практически не знал английского, поэтому стал ходить на английские и американские кинофильмы. Проезжая по Курфюрстендамм на автобусе № 19 по пути в школу на Ноллендорфплатц, я неизменно держал под мышкой газету Times, чтобы быть похожим на англичанина. Обычно газета была двух-трехнедельной давности, потому что я не мог себе позволить ежедневно покупать ее на карманные деньги. Я разворачивал Times и принимался читать в надежде, что люди в автобусе будут восхищаться прелестным английским мальчиком.

Даже одеваться я старался как англичанин. В то время это было модно, и многие молодые люди в Германии старались быть похожими на англичан или американцев, но только не на немцев. Я часами торчал перед зеркалом, примеряя вещи. Следует ли носить галстук? Если носить, то какой узел завязывать – большой или маленький? Нужно ли поднять воротничок или лучше опустить? Еще одно ответственное решение было связано с выбором, как носить свитер – навыпуск или заправленным в брюки.

Я доводил родителей до белого каления. Мать кричала: «Достаточно, Хельмут! Немедленно отойди от зеркала!» Моим излюбленным нарядом в то время были жемчужно-серые фланелевые брюки с большими отворотами, рубашка, свитер, галстук и пальто с высоким воротником, который нужно было носить поднятым. Если мой брат в этом возрасте хотел быть похожим на Джека Даймонда, то я старался выглядеть джентльменом.



Уличная вывеска на Иннсбрукерштрассе в Шёнеберге с выдержкой из Нюрнбергских законов о чистоте расы, сфотографированная в 2002 году (фотография Яна де Витта)

В те дни уже было запрещено иметь служанок еврейского происхождения, и это стало проблемой, так как нам разрешалось нанимать только «чистокровных» немецких горничных или поварих при условии, что женщине будет больше пятидесяти лет и она не будет жить в доме. Думаю, составители Нюрнбергских законов о расовой чистоте считали, что даже еврей не позарится на даму, которой перевалило за пятьдесят! Славные времена, когда отец мог наклониться в кровати и шлепнуть по заднице здоровенную девушку из Восточной Пруссии, ушли безвозвратно.

В четырнадцать лет я завел свой первый любовный роман. Я влюбился в чемпионку из моего плавательного клуба, девушку по имени Илла. Она была замечательной пловчихой, и нас ужасно тянуло друг к другу, хотелось заняться любовью, но мы не знали, как это делается. Однажды, когда Илла отправилась в Бреслау на соревнования, она сказала: «Хельмут, я постараюсь там найти какого-нибудь парня и выяснить, как это делается».

Она вернулась в Берлин в субботу. Мы могли встречаться главным образом по выходным. «Теперь я знаю, как это делать, – сказала она. – Иди, я покажу тебе». Мы с Иллой отправились в мою комнату, заперли дверь, и она показала мне, как заниматься любовью. После этого она ушла домой, а я заглянул на кухню, где мать что-то готовила. Я был полон воспоминаниями о недавнем событии, но буквально умирал с голоду.

Я попросил маму приготовить мне сэндвич и пока жадно глотал кусок за куском, рассказал обо всем. У меня не было от нее секретов, поэтому я не испытывал ни малейших сомнений по поводу того, стоит ли говорить об этом. В конце концов, я следовал совету семейного врача.

«Я рада, что ты поделился со мной этой новостью, Хельмут, – сказала она. – Но тебе следует заниматься этим не чаще одного раза в неделю, иначе пострадает учеба. Я буду давать тебе побольше карманных денег, чтобы ты мог покупать презервативы и не подцепил какую-нибудь заразу».

В те дни триппер был чрезвычайно распространенным заболеванием. Конечно, люди болели и сифилисом, но иногда казалось, что буквально все вокруг больны триппером. Мой брат переболел трижды, а тогда для лечения пользовались ртутью и процедуры были очень болезненными. Ему приходилось делать себе ртутные инъекции, и я помню, как он вопил от

боли в ванной. С матерью я мог свободно разговаривать о подобных вещах, но отец стыдился и оставлял такие темы на ее усмотрение.



Моя первая любовь Илла

Она рассказала мне все необходимое о венерических заболеваниях и главное о том, как не сделать девушку беременной. Потом она добавила: «Знаешь, если ты что-нибудь подцепишь, то не надо мучиться сомнениями и советоваться со мной. Сразу же отправляйся к нашему доктору и скажи ему, что тебя тревожит. Мы оплатим счет, а ты избавишь себя от лишних волнений».

Я так и не заболел триппером, хотя не был особенно осторожен. Возможно, дело было в компании, с которой я общался. Я не ходил к проституткам и вообще не связывался с женщинами легкого поведения. Мы с друзьями спали только с девушками своего круга – то есть с девушками из состоятельных еврейских семей. Нас не интересовали наркотики и алкоголь; мы увлекались только девушками.

В 1934 году во всех берлинских кафе появились вывески с надписью «Евреям и собакам вход воспрещен».

Когда я вернулся в Берлин в 1950-х годах, то посетил кафе, куда обычно заглядывал, – Mамре's на Курфюрстендамм и Hardtke's, где официанты по-прежнему выглядели как надзиратели из концлагерей. Вывески исчезли, но налет нацизма оставался на стенах Hardtke's.

Такая же вывеска появилась и в клубе Halensee Schwimmbad, но я не обращал на нее внимания и продолжал плавать. На каждой тренировке я проплывал по меньшей мере два километра.

В парках и на улицах появились желтые скамейки для евреев. Газета Der Stürmer («Штурмовик») выставлялась на газетных стендах по всему городу в развернутом виде, страница за страницей. Кстати говоря, когда иностранцы съехались в Берлин на Олимпийские игры 1936 года, с улиц исчезли желтые скамейки, а также газета Der Stürmer и другие явные признаки антисемитизма.

В 1935 году американская школа переехала с Ноллендорфплатц в отремонтированную старую виллу на Кёнигсallee. Для меня это было как нельзя кстати, поскольку новое место находилось в десяти минутах ходьбы от Halensee Schwimmbad. Я начал тренироваться в полную силу. Каждое утро перед школой я доходил от Фридрихсруэрштрассе до Халензее, проплывал километр, наскоро одевался, хватал портфель и бежал в школу. Я успевал сесть за парту, когда звенел звонок, еще мокрый после бассейна. После школы я выполнял поручения фотографов и проплывал еще один километр.

Мои тренировки не прошли даром. Я стал отличным пловцом – не олимпийского уровня, но близко к этому. Я очень быстро плавал на короткие дистанции, например стометровку. Я был спринтером, потому что плохая сосредоточенность мешала мне добиваться успеха на более длинных дистанциях.

В бассейне на Халензее был плотик, у которого можно было отдыхать, не вылезая из воды. Помню, как летом я подплыл туда с одной из своих подружек. Было жарко, и мы решили заняться любовью в воде, держась за край плотика.

Я начал стаскивать с нее купальный костюм, когда в бассейн зашел тренер. Он поймал меня за этим занятием и запретил приходить в бассейн до начала сезона. Это было худшим наказанием, какое можно придумать, но я ухитрился проникать в бассейн, где продолжал тренироваться и встречаться со своими подружками.

Однажды по пути в американскую школу на автобусе № 19 я заметил очень хорошенькую девушку. Ей было примерно двадцать один год, а мне недавно исполнилось четырнадцать.

Я виделся с ней каждое утро, смотрел на нее, а она на меня. Несмотря на нахальство, я очень стеснялся, и понадобилось довольно много поездок в школу, чтобы набраться храбрости и наконец заговорить с ней.

Как и все берлинские мальчишки, летом я носил шорты и носки. Когда я садился в автобус, то обычно клал портфель на колени и разворачивал газету, чтобы скрыть эрекцию, возникавшую каждый раз после разглядывания девушки, которая была гораздо старше и по меньшей мере на голову выше меня. Из-за дурацких коротких шорт я буквально не находил себе места. Когда автобус доезжал до моей остановки, я поспешно выскакивал наружу, прикрываясь спереди портфелем и газетой.



Обложка Der Stürmer с антисемитскими заголовками и карикатурами

Когда я наконец осмелился заговорить с девушкой, выяснилось, что она работает моделью на фабрике по производству готовой одежды в деловой части города. Я безумно влюбился в этот манекен в юбке. Мы назначали тайные встречи на углу большого сада возле моего дома. Летом мы встречались в шесть часов вечера и прятались в кустах, сжимая друг друга в объятиях и осыпая поцелуями. Не помню, доходило ли у нас до чего-то более серьезного, но это был один из самых волнующих романов моей молодости.

Несколько месяцев спустя я сильно простудился и слег в постель. Родители, разумеется, ничего не знали о моем новом увлечении, потому что я держал его в секрете. Я хорошо понимал, как опасно еврею вступать в связь с чистокровной немкой. Две недели я не вставал с постели, а когда звонила эта девушка, то боялся что-либо говорить своим родителям. Но, после того как она прислала букет цветов и несколько подарков, мне пришлось признаться.

Мой отец, который никогда не унижал и не бил меня, на этот раз отвесил мне два крепких подзатыльника и сказал: «Как ты мог так поступить? Неужели ты не знал, какой опасности себя подвергаешь?»

Он был прав. Из-за моего поступка вся семья могла оказаться в концентрационном лагере, но когда тебе четырнадцать лет и ты влюблен, что можно поделать? Так или иначе, мне было не до законов о расовой чистоте.

Я обещал, клялся и умолял. Я даже стоял на коленях перед родителями и давал слово, что никогда больше не буду встречаться с этой девушкой... Тем не менее мы виделись еще несколько раз, пока это в самом деле не стало слишком опасно.

Однажды субботним вечером в конце июня я возвращался с курсов фотографии. Это было вскоре после того, как мы переехали в новую квартиру на Фридрихсруэрштрассе. Я доехал на метро до станции Halensee, которая была расположена на наземной платформе.



Автобус маршрута № 19, возивший меня в школу в Берлине в 1930-х годах

Сойдя с поезда, я заметил небольшой отряд «коричневорубашечников» на мосту Халензее перед входом на станцию. Это были члены радикальной нацистской милиции Sturmabteilung, или СА. Чтобы спуститься с платформы и отправиться домой, мне пришлось бы пройти мимо них. Мне стало очень не по себе, но другого выхода не было. Проходя мимо молодых штурмовиков, я обратил внимание на одно лицо в переднем ряду. Наши взгляды встретились. Он был ненамного старше меня и выглядел таким же испуганным.

Много лет спустя один молодой человек прибыл вместе с новой партией задержанных в австралийский лагерь Tatura для интернированных лиц, в котором я находился уже более двух лет. «Я видел вас раньше, – сказал я ему. – Это было летним вечером в субботу, когда вы шагали с отрядом штурмовиков на станции Halensee». – «Да, вы правы, – ответил он. – На следующий день я бежал в Лондон, и так мне удалось спастись от резни в “Ночь длинных ножей”...» Дело было в июне 1934 года.

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, в моей жизни было три главных увлечения: фотография, девушки и плавание. В графике почти не оставалось времени для школьных занятий. Гром грянул в октябре, когда отец получил мой табель успеваемости. Там было ясно сказано, что если я не возьмусь за ум и не засяду за уроки, то меня исключат из школы. Это стало настоящим потрясением, поскольку американская школа была частной и к тому же очень дорогой. Исключение за неуспеваемость, притом что это означало потерю выгодного клиента, было чем-то неслыханным. С отцом случился припадок.

Мне наняли частного репетитора. Все фотокамеры закрыли под замок, и мне пришлось признаться, что я целые месяцы помогал двум фотографам вместо того, чтобы заниматься уроками. Английский больше не был проблемой – я научился прилично на нем говорить. Немецкий тоже не доставлял хлопот, но с французским, математикой и историей дела обстояли гораздо хуже. Моим репетитором была страшная женщина, которую звали фрейлейн Салингер. Она заматывала свои отвратительные сивые волосы в большой узел на макушке и закрепляла шпильками. Когда она вбивала в меня математику и французский, то вынимала одну шпильку из волос и начинала ею чесать себе голову. При этом перхоть, как снег, падала на мой стол и разложенные бумаги.

Это было невыносимо. Фрейлейн Салингер приходила каждый вечер. Вместо того чтобы ходить к фотографам, я был вынужден наблюдать, как она чешет скальп шпилькой и пытается учить меня французскому.

Все было бесполезно. Я ненавидел школу – не американскую школу в частности, а сам процесс учебы. Промучившись с фрейлейн Салингер и ее перхотью, насколько хватило сил, я решил избрать путь пассивного сопротивления и вообще перестал учиться. В конце концов, что они могли сделать со мной? Не бить же, в самом деле. Они не могли заставить меня учиться.

Если ученик не получал степень бакалавра, по-немецки *Abitur*, он мог уйти из школы самое раннее в шестнадцать лет. Моя кампания пассивного сопротивления завершилась полным успехом. Отец разочаровался в моей научной карьере. Мать, поддерживавшая мои творческие устремления, постаралась убедить отца, что я должен уйти из школы после того, как мне стукнет шестнадцать. Я хотел бросить учебу, и я сделал это.

Больше всего мне хотелось стать оператором кинофильмов, как мой кузен Беннет. Мать была в родстве с режиссером Александром Кордой, и мне предложили отправиться к нему в Лондон, чтобы работать ассистентом. Тогда с моим отцом случился новый припадок. Все мои мольбы и увещевания остались тщетными. Он категорически запретил поездку и заявил, что его сын никогда не будет работать в кинематографии. Для него это было так же низко, как стать официантом, проституткой или сутенером.

Моя мать повернулась ко мне и спросила: «Хорошо, что ты собираешься делать?» – «Если я не могу стать оператором, то хочу стать фотографом», – ответил я. Но это тоже не устроило отца. «Мой мальчик, ты окончишь свои дни в выгребной яме, – сказал он. – Ты думаешь только о девках и фотографиях».

Молодые евреи старались получать образование, которое могло пригодиться им в эмиграции. Даже люди высокооплачиваемых профессий – врачи, юристы и архитекторы – учились на плотников, печатников и механиков. Ученые и бизнесмены среднего возраста отчаянно пытались научиться зарабатывать своими руками, понимая, что для них это может стать выбором между жизнью и смертью.

Мой отец был типичным представителем этого круга. Он считался самым крупным производителем пуговиц в Германии, но все, что он умел делать, – продавать эти чертовы пуговицы. Он умел говорить только по-немецки. В любой другой стране он тут же остался бы без работы.

Позднее, в Австралии, я познакомился с некоторыми людьми старшего поколения, которым во время войны было за пятьдесят. Это были врачи и профессора, иногда даже авторы учебников на немецком языке, но их дипломы и ученые степени не признавались по австралийским законам. Им приходилось снова сдавать экзамены и защищать докторские диссертации на английском языке, хотя их книги уже переводились на английский. Таким людям было очень трудно выжить в чужой стране, особенно если они не говорили ни по-французски, ни по-английски. Английский был важнее французского. Хотя много людей уехало во Францию, она считалась очень опасным местом, поскольку там евреи не могли рассчитывать на защиту государства.

Кузену Беннету повезло больше других: он все еще имел работу. Многие фирмы были вынуждены увольнять сотрудников еврейского происхождения. Поскольку Беннет был евреем лишь наполовину, ему позволили сохранить должность в компании Tobis Film. При этом ему пришлось платить членские взносы в кассу СС, хотя, к счастью, его не заставили носить эсэсовский мундир.

Поэтому отец удовлетворил мечту моего сводного брата стать фермером: он не видел другого будущего для Ханса. Брат отправился на ферму в окрестностях Берлина и стал постигать сельскохозяйственную премудрость. Оттуда он уехал в Данию, где продолжил обучение. Летом 1934 года родители разрешили мне съездить к нему. Я первый раз самостоятельно отправился в такую дальнюю поездку и чувствовал себя совсем взрослым.

Родители отвезли меня на вокзал и посадили на поезд до Копенгагена. Я купил пачку Camel и выкурил несколько сигарет в тамбуре. До самого прибытия поезда в Копенгаген я продолжал строить из себя взрослого, пока не стало ясно, что брат опаздывает и не встречает меня на перроне. Я запаниковал. Мне было четырнадцать, и я оказался в чужой стране. Я больше не курил, а только с беспомощным видом озирался по сторонам.

Впрочем, когда Ханс наконец появился, мы с ним отлично поладили. Вся старая враждебность ушла в прошлое. Брат уже свободно говорил по-датски и жил в сельской местности неподалеку от Копенгагена.

Все девушки казались мне очаровательными, я даже приударил за дочерью местного священника. Ханс выглядел очень довольным, но я совершенно не мог понять, почему он хочет стать фермером.

В 1936 году Ханс уехал из Дании в Аргентину. Он подписал трудовой контракт с датским фермером, жившим в окрестностях Буэнос-Айреса, а потом влюбился в его дочь. Когда она вышла за него замуж, отец вышвырнул их из дома. Брат крестился и стал протестантом. В конце концов они с женой были приняты обратно в ее семью.



С матерью на Фридрихсруэрштрассе, 1935 г.

После того как Нюрнбергские законы вступили в действие, отцу больше не разрешалось управлять своей фабрикой. На должность генерального директора назначили «истинного арийца», а отцу достался незначительный руководящий пост. Я знаю, что он ужасно страдал из-за этого.

Помню, как однажды я пришел домой поздно вечером и увидел отца сидящим в кабинете. Даже в том возрасте я мог точно угадывать его мысли и чувства. Я очень любил отца. Он сидел один, потому что мать не выносила табачного дыма, и курил сигару за сигарой. Он был очень одинок и не знал, что будет дальше. Он полностью утратил контроль над своим бизнесом, превратившись в подставное лицо. Отец посмотрел на меня, когда я зашел в комнату перед сном, и я понял, что он сломлен.

Деньги закончились. У отца как у немецкого еврея не было будущего, хотя он оставался гораздо больше немцем, чем евреем. Когда произошли эти перемены, мне было только пятнадцать лет, но я прекрасно понимал, что происходит. Я пытался поговорить с отцом. «Мы должны уехать, – говорил я. – У нас нет выбора, здесь нам нечего делать». – «Но это невозможно, мой дорогой мальчик, – отвечал он. – Как ты выживешь без знаний и без профессии? У нас нет денег на твое содержание за границей». Я был слишком молод и не мог уехать один; пришлось ждать и набираться знаний для самостоятельного плавания в окружающем мире.

Моя мама благодаря своим связям устроила меня учеником к известной в Берлине женщине-фотографу по имени Ива. Отец поначалу воспротивился, но мать была настойчива и в конце концов смогла убедить его. В те дни обучение фотографии находилось под государственным надзором. Это было все равно что стать профессиональным плотником или водопроводчиком: человек должен был отслужить свой срок подмастерьем, после чего получал удостоверение. Без такого сертификата нельзя было называть себя фотографом. Родители ученика платили за обучение мастеру-фотографу. Это была хорошая система, так как гарантировала, что вас не заставят подметать полы. Мастер принимал на себя обязательство обучить молодого человека своему искусству.

В действительности Иву звали фрау Симон. Ее муж, Альфред Симон, казался мне полным идиотом. Он был управляющим фотостудией, а Ива занималась фотографиями для модных журналов, а также делала портреты балерин, актеров и актрис. Еще мы занимались составлением каталогов нижнего белья, что было мне особенно по вкусу.

Ива была миловидной женщиной тридцати пяти – тридцати шести лет. Я был одним из двух ее молодых помощников. Имя второго паренька я забыл.

Это были самые счастливые дни моей берлинской юности. Ива держала прекрасную студию по адресу: Шлютерштрассе, 45. За два года ученичества я безумно влюбился в нее. Я готов был целовать землю, по которой она ходила. Я обожал ее фотографии. Еще там была девушка, печатавшая фотографии в темной комнате, бывшая студентка Bauhaus. Она обычно носила черные бархатные костюмы с белой блузкой. Она также носила монокль по тогдашней моде, что безумно возбуждало меня.

Шел 1936 год; мне было шестнадцать лет, а ей двадцать два. В те дни темную комнату освещали красными фотолампами. Я пользовался любым предлогом, чтобы проникнуть туда и принести ее вещи или просто посмотреть на нее. Я не упускал ни одной возможности. У меня до сих пор сохранилась страсть к моноклям; я просто обожаю их.

Мой отец пользовался моноклем, что производило на меня большое впечатление, но он никогда не носил монокль на цепочке. Он вставлял стеклышко в глаз, а потом поднимал бровь, оттопыривал кармашек жилета и ронял туда монокль, словно шарик для гольфа.

В моей сумке для фотокамеры уже много лет хранится монокль, и я пользуюсь им при любой удобной возможности. Девушки на многих моих фотографиях носят монокль. Есть одна фотография Паломы Пикассо, сделанная в Ницце в конце 70-х или в начале 80-х годов. Тогда я достал монокль и сказал: «Быстрее, Палома, вставь это в глаз». Она вставила монокль, и я сразу же щелкнул затвором. На самом деле этот портрет имеет мало общего с Паломой, но я люблю его. Он стал прототипом плаката и почтовой открытки и вошел в мой альбом «Портреты». Паломе чрезвычайно не нравилась эта фотография, и она умоляла меня не использовать ее. Я хотел было поместить ее на обложку первого сборника «Иллюстрации Хельмута Ньютона», но потом передумал; это было бы невежливо с моей стороны.



Автопортрет Ивы

В фотостудии Ива вела себя как кинорежиссер. Ассистенты готовили сцену, но фотографии она всегда делала сама. Одной из моих обязанностей являлось звать ее после завершения подготовительных работ. Это был формальный процесс. Ассистенты давали отмашку, я бежал по широкому коридору, обшитому деревянными панелями, стучался в дверь ее кабинета и говорил: «Фрау Ива, все готово».

Она шла за мной в студию, смотрела в объектив и говорила: «Измените здесь, поправьте там и позовите меня, когда будет готово», а потом возвращалась в свой кабинет. Когда все пожелания были учтены, я снова бежал и стучался в ее дверь. Ива проверяла кадр,

затем сжимала резиновую грушу, спускавшую затвор у большой студийной камеры. Потом первый ассистент поворачивал пластинку, и она делала новый снимок.

Подмастерьям приходилось учиться всему – печатать фотографии, ретушировать негативы и проявлять пленку.

Негативы представляли собой фотопластинки размером 18×24 см, которые опускались в бачки с проявителем на крепежных подвесках из нержавеющей стали. Одна из моих обязанностей заключалась в смешивании проявителя каждый понедельник утром.



Палома Пикассо в Ницце, 1986 г.

Проявитель тогда не продавался в готовом виде, как сейчас; все реактивы отпускались в больших коричневых пакетах, и их нужно было тщательно взвешивать и смешивать в теплой воде. Жидкость сильно воняла. Смешивание реактивов на целую неделю и регулярное пополнение запасов было сложным процессом.

В первое лето мы фотографировали в студии при жарком свете осветительных ламп, составляя каталог для меховой компании. Как и в наши дни, новые модели зимней одежды было принято фотографировать в середине лета. После каждого сеанса мне предстояло проявить до пятидесяти негативов.

Я отправлялся в темную комнату и начинал обрабатывать фотопластинки. Прямо над большим бачком с проявителем находились два выключателя лампы красного света для черно-белых пленок и от обычной лампочки накаливания. В комнате не было кондиционера и вентиляции. Я обливался потом. Однажды я открыл бачок, где находились подвешенные фотопластинки, достал их для проверки и нечаянно включил обычную лампочку вместо лампы красного света. Конечно, я сразу же выключил свет, вернул негативы обратно в бачок и закрыл крышку, но я знал, что уже слишком поздно. Я так испугался, что никому не сказал об этом.

В конце дня Ива сказала: «Хельмут, дай мне посмотреть негативы, с которыми ты сегодня работал». Я пошел с ней, дрожа от страха. Мы вошли в комнату, где негативы теперь находились в промывочном бачке. Она достала их один за другим и поднесла к свету. Все они были частично засвечены. «Боже всемогущий! – воскликнула она. – Что случилось, Хельмут?» – «Понятия не имею, – солгал я. – Фрау Ива, я не виноват! Может быть, свет каким-то образом просочился в бачок?» Разумеется, она поняла, что это я засветил негативы, но предпочла не устраивать скандал.

Несколько лет спустя в Мельбурне у нас с Джун была темная комната, использовавшаяся для обработки пленок. Мы называли ее «Маленьким адом». У меня был ассистент, такой же зеленый юнец, каким был я сам, когда работал помощником у Ивы.

Однажды он зарядил фотопластинки размером 4 × 5 см в мою камеру Graflex Super D, и я отправился на пляж Сент-Килда, где собирался фотографировать купальные костюмы. Эта замечательная камера хранится у меня по сей день. В общем, я отправился на пляж, сделал снимки, вернулся обратно и сказал ассистенту: «Вот, прояви их». Закончив работу, он позвал меня и воскликнул: «Хельмут, что случилось? На пленке дамские сумочки!» – «Сумочки?» – переспросил я. «Да, сумочки».

За неделю до этого мы занимались каталогом дамских сумочек, и в темной комнате лежали кое-какие старые негативы. Вместо того чтобы зарядить в мой фотоаппарат новые пластинки, парнишка зарядил старые, экспонированные негативы для каталога, и мои купальные костюмы наложились на изображения дурацких сумочек! Полагаю, такая история может случиться с любым фотографом.

Каждый вторник вечером Ива позволяла нам пользоваться студией после окончания работы и фотографировать друзей для практики. Я приводил всех своих знакомых. Делал снимки своих подружек, одетых в платья и шляпки моей матери. Разумеется, она выписывала все журналы мод того времени: *Der Silberspiegel*, *Die Dame* и *Vogue*. Я старался имитировать фотографии оттуда. Я уже умел правильно обращаться с камерой и хотел стать фотографом для *Vogue*.

Кроме того, я делал снимки приятелей. Один из моих друзей, немного старше меня, был очень красивым юношей. Его звали Питер Кайзер, и я сделал массу его портретов. Один снимок, где он стоял, запрокинув лицо к небу, был особенно удачным. Я смазал его кожу маслом и сбрызнул водой, чтобы изобразить капли пота. Это был очень «фашистский» снимок, в стиле немецкой фотографии 1930-х годов. На всех снимках берлинской Олимпиады 1936 года изображались доблестные арийцы, торжествующие немецкие спортсмены с потными после героических усилий лицами и заслуженной победы.

У Питера был немецкий приятель по фамилии Козловски, который происходил из старинного прусского рода и также выглядел настоящим арийцем. Он тоже носил монокль. Питер, в то время встречавшийся с моей очередной возлюбленной, привел Козловски на празднование моего семнадцатилетия. Мы скатали большой ковер в гостиную, чтобы было легче танцевать, и без остановки слушали джазовые композиции на «Электроле». Все отлично проводили время, но потом пришел мой отец и застал в темном уголке Питера и Козловски, явно собиравшихся вкусить «запретный плод».

Гомосексуальные связи были распространенным явлением в Берлине, но отец был возмущен до глубины души, столкнувшись с этим в собственном доме. Он устроил Козловски разнос и выгнал их на улицу.

Спустя годы я снова встретился с Питером и Козловски в Австралии при очень необычных обстоятельствах.

Примерно через полгода Ива позвонила моей матери и сказала: «Послушай, дела у Хельмута идут так хорошо, что ты можешь больше не платить за обучение. В сущности, мы сами готовы давать ему немного денег на расходы в качестве поощрения за успехи». Это было замечательно. Я был горд и чрезвычайно доволен.

Я по-прежнему ходил в бассейн на Халензее, но по выходным мы вместе ездили на большое озеро Ванзее, где Ханс раньше плавал на каноэ. На озере был пляж с мелким песком, завезенным с Балтийского моря. Примерно в ста метрах от берега – искусственный островок «Ювена». Остров назывался в честь крупного производителя купальников; в рекламных целях его расположили так, что до него можно было только доплыть. Там имелись

танцплощадка и небольшой бар. Мы с подружкой приплывали на остров и танцевали прямо в мокрых купальных костюмах, прижимаясь друг к другу.

От нас пахло лосьоном для загара и кремом Nivea. Все пользовались им. Поскольку мы танцевали и целовались, запах Nivea до сих пор вызывает у меня сексуальные ассоциации. Он пробуждает воспоминания о Ванзее, которое для меня всегда было очень радостным местом. Впрочем, у большинства людей озеро Ванзее связано с другими воспоминаниями. Здесь находилась вилла, где Рейнхард Гейдрих, Адольф Эйхман и их помощники составили план «окончательного решения еврейского вопроса».

К тому времени нам было совершенно ясно, что для евреев в Германии не будет возвращения к нормальной жизни. Мои успехи в фотографии поставили отца перед фактом, что никто из его детей не унаследует семейный бизнес по производству пуговиц.

Думаю, он до последнего цеплялся за эту надежду. По крайней мере, в этом Гитлер оказал услугу мне и моему брату. Если бы не нацисты, отец бы настоял на том, чтобы я стал коммерсантом, хотя мои способности на этом поприще были не лучше, чем у Ханса. Рано или поздно я бы просто удрал и разбил отцу сердце. Но Гитлер сделал это за меня.

Ива теперь находилась в таком же положении, как и мой отец. Она много лет была движущей силой своего бизнеса, но для официального соответствия законам о расовой чистоте ее подруге, историку искусств Шарлотте Вайдлер, пришлось взять на себя формальное управление студией, чтобы Ива могла продолжать работу. С тех пор она публиковала свои фотографии под маркой «Пресс-фото Ива», а не «Ива Студио», как раньше. Несмотря на это, наша совместная работа продолжала оставаться чрезвычайно интересной и увлекательной.

В 1935 или 1936 году Ива получила очень привлекательное предложение от руководства журнала Life с приглашением приехать в Нью-Йорк. Альфред, ее муж, все еще веривший, что положение может улучшиться, отговорил ее. Он не хотел уезжать из Берлина. Альфред не говорил по-английски и не мог представить, как будет устраивать новую жизнь в Нью-Йорке.

Я уже понимал, что фотографу не обязательно знать иностранный язык, чтобы добиться успеха. Когда фотограф обладает оригинальным видением мира и людей, его работу ценят и хорошо оплачивают в любой стране. Ива обладала таким талантом, поэтому ее пригласили в Америку. Послушавшись мужа, она совершила ошибку.

Я сознавал, как опасно оставаться в Германии, и регулярно убеждал Иву, что ей лучше уехать, но она лишь похлопывала меня по плечу и говорила: «Успокойся, Хельмут, ничего с нами не случится».

После моего отъезда из Берлина в 1938 году Иву отправили в концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим), где она погибла. Я всегда старался хранить живую память о ней. Она была великим фотографом и замечательной женщиной.

В конце 1950-х годов мы с Джун оказались в Берлине. Перед отъездом из Мельбурна я дал ей книгу Кристофера Ишервуда «Берлинский дневник». Для меня эта книга была лучшим путеводителем по настоящему «старому Берлину», так что, когда мы приехали в Берлин на белом Porsche в рамках большого тура по Европе, то, к своей радости, остановились точно в таком же пансионе, какой был описан Ишервудом. Хотя Джун не говорила по-немецки, она сразу же полюбила Берлин и берлинцев.

Мы приехали поздно вечером и обнаружили, что все номера в отеле забронированы для участников какой-то большой конференции. Тогда мы с Джун встали в две разные очереди в службу регистрации – она к мужчине, а я к девушке. Джун первой подошла к стойке. Она помахала бумажкой и крикнула: «Нам дали адрес!» В такси мы посмотрели адрес: это оказался «Пансион Х» в доме № 45 на Шлютерштрассе, где раньше находилась студия Ивы.

Для меня это была очень эмоциональная поездка. Когда мы подъехали к месту назначения, меня даже трясло от волнения.

Двое пожилых хозяев за регистрационной стойкой умолкли и подозрительно уставились на нас, когда я объяснил, что до войны здесь была студия, принадлежавшая знаменитой женщине-фотографу по имени Ива, и что я когда-то работал ее ассистентом. Я попросил отвести нас на пятый этаж, где находилась студия, но мне сказали, что придется подождать до утра.

На следующее утро мы поднялись на лифте на верхний этаж и обнаружили, что в старой студии ничего не изменилось. Люстра по-прежнему свисала с потолка, и фотографии, сделанные Ивой, остались на стенах, но вокруг не было признаков жизни. Владельцы облегченно вздохнули, когда мы ушли оттуда.

Мать была очень своенравной женщиной, но в 1935–1936 годах она стала оплотом семьи. Силы покинули отца, я видел это. Он был не способен принимать какие-либо серьезные решения, и мать осталась единственной борющейся за выживание семьи.

Мой отец обожал автомобили. Его последним приобретением был замечательный четырехдверный Fiat. Машину пришлось продать, так как по закону о расовой чистоте евреям запрещалось водить автомобили. Деньги следовало положить в банк. Отец был самым законопослушным человеком на свете и никогда не нарушал установленных правил. После продажи машины мать забрала у него деньги, так как знала, что отец собирается положить их в банк, где они бы сгинули навеки. Правительство конфисковало бы их вместе с банковскими счетами остальных немецких евреев. Она взяла наличные и спрятала их в стопку простыней среди белья в стенном шкафу. Два года спустя эти деньги спасли семью, потому что на них были куплены билеты, позволившие нам покинуть Германию.

Конец всему наступил 9 ноября 1938 года после «Хрустальной ночи». У нацистов была страсть к цветистым выражениям вроде «Ночи длинных ножей», «Бури и натиска» и так далее.

Во время ученичества у Ивы я посещал разные курсы по фотографии и кинопроизводству в центральной части города. Однажды во второй половине дня я сел в двухэтажный автобус, собираясь поехать на курсы.

Я сидел на крыше автобуса, пока мы проезжали по Курфюрстендамм. Когда автобус миновал Фазаненштрассе, я увидел большой пожар там, где находилась синагога, и услышал крики.

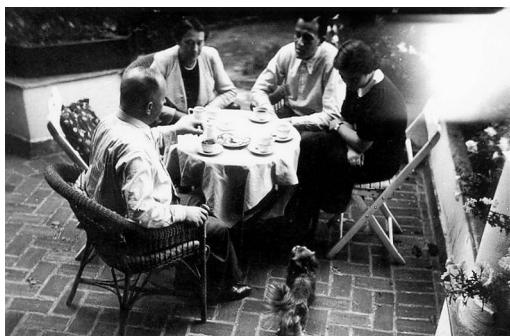
Я не видел, что происходит, но заметил отряды штурмовиков. Автобус ехал дальше по Курфюрстендамм, на правой стороне которой находился еврейский универсальный магазин F.V. Grünfeld – красивое здание из стекла и бетона в авангардном архитектурном стиле.

Магазин был разгромлен штурмовиками. По пути на лекцию я наблюдал все последствия «Хрустальной ночи».

Мать знала номер телефона курсов, которые я посещал, и позвонила туда после моего приезда. «Хельмут, не возвращайся домой. Твой отец уехал в командировку, а тебя ищут». Это был шифр, которым мы пользовались, чтобы сообщить, что человека забрали в концлагерь. Разумеется, после лекции мне все-таки пришлось вернуться домой. У меня в кармане осталась только мелочь для поездки на автобусе. Я не был готов отправиться в подполье без денег, поэтому вернулся на Фридрихсруэрштрассе. Мать была совершенно расстроена и испугана. Я взял самые необходимые вещи, она дала мне немного денег, и я тайком ушел из дома.

Евреев арестовывали по всему Берлину и увозили на допросы. На следующее утро гестаповцы снова пришли к нам домой, надеясь обнаружить меня.

Я скрывался в течение двух недель. Днем было негде спрятаться, и лишь вечером я мог рассчитывать на укрытие. Приходилось быть крайне осторожным. Я старался не переходить улицу на красный свет, потому что любой полицейский мог остановить меня и спросить документы, которых у меня не было. Если еврея останавливали, когда он неправильно переходил улицу, его неизбежно отправляли в концлагерь. В дневное время я старался быть как можно незаметнее и не выделяться среди обычных прохожих.



Отец, мать, брат, моя подруга Марион и Тайка в нашем саду на Фридрихсруэрштрассе, 1937 г.

Я часто ходил в кино, причем обязательно приходил к началу сеанса, когда показывали кинохронику, – если человек пренебрегал официальной кинохроникой и приходил к началу фильма, на него могли донести. Все новости были полны гитлеровской пропаганды. Я сидел в зале с бешено стучащим сердцем и слушал, как Гитлер рвет и мечет, призывая расправиться с евреями. Я никогда не опаздывал.

В Австрии и Германии до сих пор еще остались доносчики с нацистских времен. Недавно мы с ассистентом, не сумевшим найти место для стоянки автомобиля рядом с берлинским рестораном, остановились прямо на мостовой. Было десять часов вечера. Из подворотни вышел какой-то старик и стал записывать номер машины. «Что вы делаете, черт возьми?» – осведомился я. «Я должен сообщить о нарушении», – ответил он. Тогда я обратился к нему на берлинском диалекте и сказал: «Отвали, старый пердун, или позвони в полицию!» Стоило посмотреть, как он изменился в лице.

Первые две или три ночи я спал на диване в квартире у кузена Беннета и его жены Эльзы. Поскольку Беннет был «кандидатом в члены СС», это было довольно безопасное место, но Беннет сильно рисковал, укрывая еврейского родственника, поэтому вскоре я ушел. На улице я встречался с другими ребятами, находившимися в таком же положении. Мы обменивались информацией о том, где можно переночевать. Помню, однажды я отправился в Зелендорф и ночевал в большом погребе на вилле, принадлежавшей члену нацистской партии, где было полно таких же бедолаг. Жаль, что я не помню имени этого человека – он укрывал в своем погребе полтора десятка евреев. Естественно, дом члена нацистской партии не подвергался обыскам.

Не могло быть и речи о визите к богатому дядюшке Эдуарду; он побоялся бы принять меня, хотя почему-то считал себя неуязвимым. Он забыл о своем еврейском происхождении и яхшался с нацистами, полагая, что они защитят его.

Спустя долгое время после нашего отъезда из Германии я узнал от матери, что бедный дядюшка Эдуард окончил свои дни в концлагере. Во время войны, когда в Берлине выдалась особенно суровая зима, кто-то сказал ему, что он должен взять лопату и убрать снег с парадного крыльца своей виллы. Дядя возразил, что он никогда не будет работать лопатой,

но наймет человека, который сделает это. О его словах доложили смотрителю еврейского квартала, после чего беднягу отправили в концлагерь, где он пропал навеки.

Мы совершали обходы, и я поддерживал связь с мамой, а через две недели ситуация немного разрядилась. На практике это означало, что нацисты взяли всех евреев, которых смогли арестовать. Причины ареста не имели ничего общего с политикой; на евреев просто устраивали облавы и отправляли их в Ораниенбург, концентрационный лагерь в окрестностях Берлина.

Мать снова начала действовать с энергией, которой никто от нее не ожидал. По каким-то таинственным каналам она узнала, что в штаб-квартире гестапо на Александерплац есть некий почтовый ящик, куда можно опустить письмо с надеждой освободить родственника или получить разрешение на выезд из страны. Она написала письмо, мы отправились на Александерплац и опустили его в нужный ящик. Спустя короткое время мы получили предписание явиться в штаб-квартиру гестапо.

Мы поднялись на пятый этаж. Везде стояла вооруженная охрана. Мы предъявили документы охраннику, и он приказал нам ждать у двери определенного кабинета. Вскоре оттуда прозвучало мое имя: «Хельмут Нойштадтер, еврей». Я вошел, а мама осталась ждать за дверью. В кабинете сидел гестаповец, он был в штатском, а не в мундире.

Мне приказали встать перед столом. В углу находился стол, где за пишущей машинкой сидела секретарша.

Как только дверь закрылась, гестаповец принялся во всю глотку орать на меня, называя меня еврейской свиньей и другими оскорбительными кличками, которые были в моде в то время. Затем он прервал тираду и дал секретарше какое-то поручение.

Когда она вышла, его тон совершенно изменился. Он заговорил тихо и очень быстро. Он вручил мне бумаги, необходимые для освобождения отца, и подробно рассказал, где и как я должен получить паспорт. Мне лишь две недели назад исполнилось восемнадцать, после чего в Германии можно было получить официальное удостоверение личности. Он подчеркнул, как важно для меня побыстрее получить паспорт и сразу же после этого уехать из страны.

Минуту спустя в комнату вернулась секретарша, и гестаповский офицер возобновил поток ругательств. «Убирайся отсюда, еврейский ублюдок! – пожелал он мне на прощание. – Вон отсюда, свинья! ВОН ОТСЮДА!» Я ушел так быстро, как мог, но дело было сделано. Мы с мамой пошли в указанное место, и там мне выдали паспорт, действительный в течение года. На каждой странице стоял ярко-лиловый штамп «J» («еврей»), но документ позволял мне покинуть Германию. Еще раз в жизни мне повезло: я наткнулся на двух порядочных немцев.

Когда я получил паспорт, мама купила мне железнодорожный билет до Триеста и билет второго класса на пароход «Граф Росс» до порта Тяньцзинь в Китае. Для этого она воспользовалась деньгами от продажи Fiat, спрятанными в стопке белья. Мой отъезд был назначен на 5 декабря – меньше чем через месяц после «Хрустальной ночи». Нацисты охотились за иностранной валютой, и меры таможенного контроля были очень строгими. Мне разрешалось вывезти не больше пяти долларов в пересчете на американские деньги, но я мог взять с собой любую одежду и вещи по своему усмотрению. Хотя евреев понуждали к выезду из страны, им приходилось еще и приплачивать за это. Каждый еврей, покидавший Германию, должен был заплатить выездной налог. Упаковав сумки и чемоданы, я составил полный список их содержимого: каждый костюм, каждая рубашка, каждая пара носков. Я взял с собой столько, сколько мог. У меня была пара фотокамер, включая Rolleicord и Kodak, и я надеялся с их помощью зарабатывать себе на хлеб с маслом в следующие несколько лет.



На том перроне, с которого я уехал из Берлина 5 декабря 1938 года, висит рекламный плакат моей ретроспективной выставки в Национальной галерее в Берлине (октябрь 2000 г.)

Чиновники составили список и опечатали мой багаж. Потом они произвели оценку моих вещей по установленной процедуре. Эту сумму полагалось уплатить полностью нацистскому правительству, и здесь снова помогли деньги, вырученные от продажи машины.

Третьего декабря, за два дня до моего отъезда, домой вернулся отец – или, по крайней мере, тот человек, который был моим отцом. Я был потрясен, когда увидел его. Он сильно исхудал и как будто стал меньше ростом. Ему не нанесли никаких телесных повреждений, но нанесли непоправимый моральный ущерб.

Если днем и ночью ходить раздетым при температуре ниже нуля, на теле не остается следов физических травм. Отец так и не рассказал мне, что с ним произошло. Сразу же после его возвращения мама забронировала два места на корабле, отплывавшем в Южную Америку. Не могло быть и речи о том, что они смогут уехать со мной в Китай. У них не оставалось времени на распродажу оставшегося домашнего имущества, да и в любом случае мой отец едва мог путешествовать в таком состоянии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.